

палец напитать отдельным ароматом? Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидела. . . ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, и слышать твой голос?»²²

У его Эроса нет трагического лица. В этом мире все знают, что «милое тело дано для того, чтоб потом истлело», и все кончается радостно-грустным призывом:

Кружитесь, кружитесь,
Держитесь крепче за руки!

Он не написал ни одной надгробной эпитафии ни самому себе, ни своим подругам, подобно тому как их любили писать другие греческие певцы и особенно его старший брат Мелеагр, написавший на могиле Айсигены:

«О, земля, наша общая мать, привет тебе! Будь легка над моей Айсигеной, ведь она сама так мало тяготила тебя».²³

Быть может, поэт знал, что он не умрет вместе с эллинской радостью, и ушел из той жизни не через врата Смерти?

Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, усталыми от тысячелетий?

Зачем он с своей грустной эллинской иронией говорит нам жесткие слова:

Солнце греет затем,
Чтобы созревал хлеб для пищи
И чтобы люди от заразы мерли.
Ветер дует затем,
Чтобы приводить корабли к пристани дальней
И чтобы песком засыпать караваны.
Люди рождаются затем,
Чтобы расстаться с милою жизнью
И чтобы от них родились другие для смерти.²⁴

«ЭРОС» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Некий царь в древности заманил в свой сад Сатира — бога-зверя и допытывал его:

«В чем высшее счастье жизни?»

Сатир обернул к нему свое бледное звериное лицо, искаженное страданьем, и произнес загадочные и жуткие слова:

«Высшее счастье — совсем не родиться. А рожденному — как можно скорее умереть».

«Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts».

«Чары ужаса могут вдохновлять только сильных».

С неотвратимым любопытством Вячеслав Иванов зазывает в свой «Сад роз» — «в полдень жадно-воспаленный, в изможденьи страстных роз» вещего зверя для того, чтобы снова услышать из уст жуткие и манящие слова: «Высшее счастье — совсем не родиться!».

Легконогий, одичалый,
 Ты примчись из темных пущ! . .
 . . .Взрой луга мои копытом,
 Возмути мои ключи. . .
 . . .Замеси в мои услады
 Запах лога и корней —
 Дух полынный, вялость прели,
 Смольный дух опалых хвой
 И пустынный вопль свирели,
 И Дриады шалой вой!
 . . .Здесь пугливый, здесь блаженный,
 Будешь пленный ты бродить,
 И вокруг в тоске священной
 Окó дикое водить. . .¹

Но слова Сатира — сладкие для уха сильного, замороженного «чарами Ужаса», не повторяются в этой поэме.

Только глухой пророчесственный гул природы, в котором звучат голоса судьбы, отвечает на безумный призыв пытливого:

Что земля и лес пророчит,
 Ключ рокошет, лепеча, —
 Что в пещере густотенной
 Сестры * пряли у ключа.²

Не ту же ли тайну пыгает поэт у Кентавра-Китовраса?

Я вдали, п я с тобой незримый, —
 За тобой, любимый, недалече,
 Жутко чаемый и близко мнимый,
 Блиско мнимый при безликой встрече.
 За тобой хожу и ворожу я,
 От тебя таясь и убегаю;
 Неотвратно на тебя гляжу я,
 Опускаю взоры, наступая.³

Но и Сатир, и Кентавр — это не настоящие имена того, кого призывает поэт. Когда опускается над землей Матерь-Ночь — «разрешительница заклятий Солнца — слепого связня Хаоса глухонемая дочь», он зовет кого-то иного, кого он не называет по имени:

Приди возлечь со мной за трапезы истомные
 Один, и чашу черноогненную раздели!
 . . . Приди, мой сын, мой брат! Нас ждет двоих одна жена:
 Ночь, мать чарая, — глуха, тиха, хмельна, жадна. . .⁴

* Парки.

Заклинание вырастает, крепнет, и в зовущем голосе растут неотвратимые, требующие звуки.

Еще через несколько страниц дальше поэт-заклинатель призывает бога Вакха.

Ты, незримый, здесь со мной!
Что же лик полдневный кроешь?
Сердце тайной беспокошь?
Что таишь свой лик ночной?
Умилась над злой кручиной,
Под любой явись личной,
В струйной влаге пль в огне.
Иль, как отрок запоздалый,
Взор унывный, взор усталый
Обрати в ночи ко мне.
Я ль тебя не поджидаю
И, любя, не угадаю
Винных глаз твоих свирель?
Я ль в дверях тебя не встречу
И на зов твой не отвечу
Дерзновеньем в ночь и хмель?

И вот в первый раз заклятие совершается:

Облик стройный у порога. . .
В сердце сладость и тревога. . .
Нет дыханья. . . Света нет. . .
Полу-отрок, полу-птица. . .
Под бровями туч зарница
Зыблет тусклый пересвет. . .
Демон зла иль небожитель,
Делит он мою обитель,
Клювом грудь мою клюет,
Плоть кровавую бросает,
Сердце тает, воскресает,
Алый ключ лиет, лпет. . .⁶

Призываемый, искомый, закликаемый появился. Но кто же он — этот «полу-отрок, полу-птица»? Демон зла иль небожитель? Он появился только тогда, когда было произнесено имя Вакха, но Вакх ли это? Под личиной призываемого бога явился иной бог, имя которого до сих пор не было названо, бог более древний и более могущественный, чем Вакх-Дионис. Имя его стоит в заглавии книги Вячеслава Иванова.

Это великий бог Эрос, который старше всех богов на земле.

«В начале был хаос. Затем широколонная земля и Эрос», — говорит Гезиод.

Но не случайно Эрос появился тогда, когда призыв был окрылен именем Вакха-Диониса. Надо было, чтобы снова воскресло почитание

культы Дионисова, и чтобы Фридрих Ницше втайне возжег древний жертвенник забытого бога, и чтобы сам Вячеслав Иванов написал свое исследование об «Эллинской религии страдающего бога», и чтобы ключи русской жизни возмущались до самых своих истоков таинствами оргийных революционных действий, дабы древний гений Эрос, старший сын Хаоса, мог явить свой лик и имя его могло быть произнесено снова.

Книга Вячеслава Иванова — книга заклинаний, призывающих древнего бога на землю.

В книге «Эрос» я не вижу лица поэта, как я вижу его в книгах других поэтов и как оно видимо в «Кормчих звездах» и «Прозрачности» самого Вячеслава Иванова.

Эта книга не лицо, а голос.

В «Эросе» человеческое лицо поэта скрыто тьмою вещей и чарой ночи. Из горькой тьмы доносится призывный, заклинающий голос.

Свечу, кричу на бездорожье;
А вокруг немеет, зов глуша,
Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа.⁶

В ритме этих священных заклинаний чувствуется долгое и жуткое гудение огня — голос пламени.

Каждое слово есть заклинание. «Да будет свет!». Это было первым заклинанием.

В начале бе Слово.

То, что мы называем материей, — это пламя божественного слова.

Лик божий, данный человеку, скрыт не в его теле, а в его голосе, в его слове.

«Голос человеческий менее пронзителен, чем дикий крик зверя, но он подымается до самого неба и пронзает покров земли»:

Человек словом своим заклинает появление нового мира подобно тому, как наш мир был создан словом Божественным.

Все то, чем мы проверяем реальности нашего мира: оцупь пальцев, радужные тени глаза, гудение раковины нашего уха, — все это только различные ощущения жгучих прикосновений огненного Слова, которое есть наш мир, это ожоги, следы пламени, оставленные на нашем теле.

И когда Бог дает своему пророку власть слова, он заповедует:

«Глаголом жги сердца людей!»

Каждое произведение поэзии есть заклинание.

Но никогда это не было для меня так ясно, как тогда, когда я услышал в первый раз призывное гудение тонкого пламени в ритмах и созвучиях поэм, составляющих «Эрос» Вячеслава Иванова.

Имя великого демона Эроса невольно возвращает память к той застольной беседе афинских юношей, во время которой Сократ рассказывает, как Диотима-пророчица поучала его тому, что поэзия есть общая причина того, что из небытия переходит к бытию.

Поэтому не случайно именем Диотимы, наставлявшей Сократа в тайнах Эроса, освящены лучшие поэмы в книге Вячеслава Иванова: «Змея», «Целящая» и «Кратэр», которыми он вводит нас в таинства любви.

До вступления Сократа в разговор собеседники «Пира» разбирают Эроса как бога чувственной страсти, восхваляя его качества, мощь, красоту и многообразие его проявлений на земле. Сократ же, передавая мудрые откровения Диотимы и исходя от Эроса, связующего воедино единого, но рассеченного на два пола человека, Сократ дает образ великого творческого Демона — посредника между людьми и богами, который ведет человека крестным путем страсти и смерти к познанию бессмертия и к созерцанию вечной красоты. Он учит:

«Подниматься словно по ступеням лестницы, переходя от одного прекрасного тела к другому, от двух ко многим, от красивых тел к прекрасным деяниям, от деяний к знаниям, до тех пор, пока, переходя от одних к другим, не дойдешь до совершенного знания самой Красоты, пока не познаешь Прекрасное само по себе».

Первые ступени этой лестницы ведут через неизбежный мир ожесточения, ярости и борьбы мужского и женского лика.

Дохну ль в зазывную свирель,
Где полонен мой чарый хмель,
Как ты — моя змея. . .

— говорит поэт Диотиме:

Виясь, ползешь ко мне на грудь
Из уст в уста передохнуть
Свой яд бесовств и порч.

Наступает момент высшего звериного безумия, в который человек соприкасается с тайнами Рождения и Смерти.

Не сокол бьется в злых узлах,
Не буйный конь на удилах
Зубами пенит кипь:
То змия ярого, змия,
Твои вздымают острия,
Твоя безумит зыбь. . .

Проходит мгновение божественного единения в борьбе и безумии, и одинокое сознание с трепетом прислушивается к глухим ропотам ночи.

Потускла ярь; костер потух;
В пещерах смутных ловит слух
Полночных волн прибой.⁷

Эрос — «водыр глухонемой» «двоих клеймил одним клеймом, и метил знаком: Мой. И стал один другому мой».

И двум — один удел: молчать
О том, что ночь спряла, —

Что из ночей одна спряла,
Спряла и распряла.⁸

К Диотиме ли, ведущей поэта через таинства Эросовых посвящений, обращены эти покаянные строки, над которыми нет ее имени:

Прочь от треножника влача,
Молчать вещунью не принудишь;
И жала памяти топча —
Огней под пеплом не избудешь?⁹

Но вот Диотима-змея являет свой иной лик: Диотимы-целящей.

Ты сердце пожалела, пронзенное любовью.
Не ты ль ночного друга
Блудницею к веселью
Звала, — зазвав, ласкала?
Мерцая, как Мелитта,
Бряцая, как Кибела. . .
И миррой обмывала,
И льнами облекала
Коснеющие члены. . .
 Не ты ль в саду искала
Мое святое тело, —
Над Нилом — труп супруга?
Изида, Магдалина,
О росная долина,
Земля и мать, Деметра,
Жена и мать земная!¹⁰

Третье стихотворение, посвященное Диотиме, — «Кратэр», примиряет Диотиму-Змею с Диотимой-Целящей.

В нем разоблачение конечных тайн земной любви. В кратэре — в священной чаше, из которой производились возлияния богам, Эрос смешивает мужское и женское.

Ярь двух кровей, двух душ избыток,
И власть двух воль и весть двух вер,
Судьбы и дней тяжелый слиток
Вместил смесительный кратэр.

Тайна в том, что боги живут, дышат и питаются человеческой любовью. Лестница природы такова: минералы отдают свет; растения вдыхают свет и отдают кислород; люди дышат кислородом и излучают из себя любовь. Любовь человеческая для богов то же, что свет для растений и кислород для людей. Эрос-Пчела облетает цветник людских сердец и пи-

тает богов собранным медом любви. Нектар и амброзия, которыми питались олимпийские боги, — это мужское и женское начало человеческой природы.

И Эрос

— зыблет лжицей
Со дна вскипающий сосуд;
И боги жадною станицей
К нему слетят и припадут.¹¹

Эрос, поилец богов, — это Демон вечно жаждущий, вечно неудовлетворенный, понуждающий человека идти «от одного прекрасного тела к другому, от двух ко многим», зовущий к новым и новым «дерзновениям в ночь и в хмель».

Диотима-Пророчица так объясняет Сократу природу Эроса:

Отцом его было *Изобилие*, а матерью *Бедность*. Он всегда беден, совсем не нежен и не прекрасен, как думают многие. Он худощав, грязен, необут, бесприютен, он спит на земле под открытым небом у дверей домов, на улице. Он всегда терпит нужду и похож на мать. Но с другой стороны он подобен отцу. Он следует всегда за тем, что хорошо и прекрасно. Он мужествен, предприимчив и силен. Он изобретатель, чародей, врач и софист. Он в один и тот же день бывает цветущ, полон жизни и всем изобилует, а потом все сразу теряет, умирает и воскресает снова.

Эрос — Демон пытливых исканий, демон, который учит человека дерзать и преступать законы человеческие и законы божественные. Через преступление ведет он к познанию Вечной Красоты.

Мудрый Эдип, сам того не ведая, должен убить своего отца и стать мужем матери своей Иокасты, должен пройти сквозь грех кровосмесительства и ослепнуть, чтобы прозреть внутри.

Вещал Эдипу Аполлон
Закон первоустановленной власти:
Сын тайновидец обречен
Взойти на ложе к Иокасте.

Но мать — Иокаста: это мать — Сыра-Земля и кровосмесительное ложе — могила.

И ложница — могильный склеп;
И сын в твоих объятьях щедрых,
О мать владычица, ослеп,
Как меркнет свет в глубинных недрах.
Не так ли Око-Человек,
Ночь, из твоих ложесн взыграет,
Увидит Мать — и, слеп, сгорает
В кровосмешеньи древних нег.¹²

Но когда человек прошел сквозь очистительное пламя всех страстей, всех преступлений и всяческого земного изобилья, Эрос — сын Пении — бедности, сын вечной жажды, наставляет его радостному смирению.

«Нищ и светел» идет Эдип-поэт по вечеряющей ясной земле.

И зачем-то загорались огоньки,
И текли куда-то искорки реки.
И текли навстречу люди мне, текли.
Я вблизи тебя искал, ловил вдали. . .
. . . Но твой голос мне звенел, манил, звеня. . .
Люди встречные глядели на меня.
И не знал я: потерял или раздарил?
Словно клад свой в мире светлом растворил, —
Растворил свою жемчужину любви. . .
На меня посмейтесь, дальние мои!
Нищ и светел, прохожу я и пою, —
Отдаю вам светлость щедрую мою. . .¹²

Этой светлой примиренностью заканчивает поэт свою трагическую книгу, на которой он мог бы написать стихи Маллармэ:

Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée —
Noire, à l'aile saignante et pâle, déplumée. . .

Я приношу тебе дитя Идумейской ночи,
Черное с окровавленным бледным крылом, лишенным перьев.¹³

АЛЕКСАНДР БЛОК. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

Второй сборник стихов. Изд. Скорпион. 1907

Мысленно пропускаю я перед собой ряд образов: лики современных поэтов: Бальмонт, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок — длинное ожерелье японских масок, каждая из которых остается в глазах четкостью своей гримасы.

Бальмонт со своим благородным черепом, который от напряжения вздыбился узлыстыми шишками, с глубоким шрамом — каиновой печатью, отметившим его гневный лоб, с резким лицом, которое все — устремленье и страсть, на котором его зеленые глаза кажутся темными, как дырки, среди темных бровей и ресниц, с его нервной и жестокой челюстью Иоанна Грозного, заостренной в тонкую рыжую бородку.

Вячеслав Иванов, несколько напоминающий суженностью нижней части лица, увенчанного лбом, черты Бальмонта. В глазах его пронзительная пытливость, в тенях, что ложатся на глаза и на впалости щек, есть леонардовская мягкость и талантливость. Длинные волосы, цветочными золотистыми завитками обрамляющие ровный купол лба и ниспадающие на плечи, придают ему тишину шекспировского лика, а борода его под-